

ПОХОРОНЕННОЕ МОЛЧАНИЕ

Della Price



18+

Della Price

**Della Price -
Похороненное Молчание**

«Автор»

2026

Price D.

Della Price - Похороненное Молчание / D. Price — «Автор», 2026

Военный фотожурналист Кас Меррик двенадцать лет прятался от мира за стеклом объектива, снимая чужие войны. Но когда в морге провинциального Блэк-Рута оказывается тело его брата, Кас вынужден вернуться в город, откуда бежал всю жизнь. Официальная версия — несчастный случай, утопление. Но вода не оставляет на шее ровных борозд от веревки, а в легких утонувшего нет речного ила — только сладковатый привкус химикатов. И почему перед смертью брат оставил голосовое сообщение Единственная, кто может помочь Касу — Мэйрин, смотрительница морга. Семь лет она выдает фальшивые свидетельства о смерти, а затем до крови моет руки, пытаясь стереть собственную вину. «Похороненное молчание» — это триллер о коллективной вине, цене компромисса и людях, которые пытаются остаться живыми в мертвом городе. Здесь зло не прячется в тених с ножом. Оно ставит печати и искренне верит, что спасает мир. А единственной свидетельницей правды остается восьмилетняя девочка, которая рисует то, что не произносят вслух.

© Price D., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 2. Руки Мэйрин	10
Глава 3. Холодильная камера	14
Глава 4. Ключ в подкладке	17
Глава 5. Ночные копии	20
Глава 6. Второе вскрытие	24
Глава 7. Холодильная камера	27
Глава 8. Подвал церкви	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Della Price

Della Price - Похороненное Молчание

Глава 1. Дождь над Блэк-Рут

Колено затекло на четвёртом часу, и Кас перестал его разминать. Боль стала фоновой, как гул двигателя, и он научился её не замечать. Камера на коленях давила объективом в ребро, ремешок впивался в ладонь, куртка пахла чужим потом и мокрым нейлоном. В автобусе не кормили, и Кас подумал, что зря не взял булку на вокзале: теперь в животе было пусто и холодно, будто там тоже шёл дождь.

Напротив, у окна, сидела женщина с термосом. Она пила маленькими глотками и всё время поглядывала на дорогу, словно надеялась, что асфальт передумает быть размытым. Кас смотрел на трещину в её стекле: тонкая, от угла, как ноготь. Трещина не росла. Просто была. Как и всё в этой части штата — сосны и глина под серым небом.

Он вспомнил Стамбул. Не руины и кровь, а рынок: жареные каштаны и чей-то смех. Мать просила оливковое масло. Он сказал, привезёт. Не привёз.

Кас проверил карман. Зарядка осталась в гостинице в Миссуле, и телефон теперь жил собственной короткой жизнью: восемнадцать процентов, треснувший угол экрана, одно голо-совое сообщение, которое он не открывал два дня. Лучше бы не открывал. Хуже бы не прие-хал. Эти две мысли дрались в нём, как пьяные в сортире, и ни одна не собиралась побеждать.

Водитель жевал резинку и говорил с набитым ртом, когда объявлял остановки. На пятой он вдруг сбросил газ, и Кас чуть не уткнулся подбородком в спинку переднего кресла. За стек-лом вода переливалась через обочину, уносила ветки и пену, в которой крутился детский боти-нок. Водитель выругался, не сильно, устало, и включил аварийку.

— Дальше не пойдём, — сказал он, даже не обернувшись. — Мост подмыло. Хотите — ждите, пока спадёт. Хотите — выходите здесь. Я не нянька.

Кто-то на задних сиденьях застонал. Женщина с термосом закрыла глаза, будто молилась, но губы не шевелились. Кас взял рюкзак. Камера звякнула о металл, и он прижал её к боку, как чужого ребёнка, которого нельзя уронить.

Он вышел первым, потому что не хотел стоять в чужой очереди. Дождь встретил его не каплями, а мелкой взвесью, от которой сразу промокли ресницы. Автобус, не дожидаясь, пока он отойдёт, развернулся и уполз обратно по единственной сухой полосе асфальта. Кас смотрел ему вслед не от нежности. Просто это был последний кусок нормального мира на ближайшие несколько часов: в Миссуле сейчас кто-то гремит ложками в кафе, кто-то ругается из-за парковки, кто-то не знает, что в трёх милях отсюда пахнет хлоркой.

Последнюю мысль он оборвал. Хлорка была не здесь. Хлорка была впереди, в здании с железной вывеской, и Кас двенадцать лет делал вид, что не помнит, как она пахнет.

Он зашагал по обочине. Глина тянула новые ботинки вниз, будто хотела оставить их себе. Кас купил их вчера, в Миссуле, и теперь жалел не из-за денег, а из-за того, что каждая липкая подошва напоминала: он идёт туда, куда можно было не идти. Камера билась о бедро при каждом шаге. Он не убирал её в рюкзак. Там было сыро, а здесь — хотя бы под рукой.

Мимо проехал пикап, обдал его грязевой волной от колеи. Кас выругался, вытер рукавом подбородок и подумал, что ботинки всё равно уже испорчены. В таких местах вещи портятся быстро. Люди — медленнее, но тоже портятся. Просто никто не показывает счета.

Город показался не сразу. Первой появилась жесь: вывеска похоронного бюро качнулась на ветру и скрипнула, будто кто-то за дверью затянул одну ноту и не собирался отпускать. Чуть ниже по склону горел неон паба «Финч». Реку Кас увидел уже потом, когда ветер сдул занавес дождя: поверхность Блэк-Рут была покрыта плёнкой, радужной, как бензин. Он отвёл взгляд. На пустой желудок такие вещи действуют хуже, чем на совесть.

На берегу валялась мёртвая рыба. Брюхом вверх, чешуя тусклая, как старое серебро. Кас перешагнул через неё, не думая, что это примета. Приметы в таких местах работают только тогда, когда в них верят, а он давно перестал верить во что-то, кроме веса техники в руках.

Пахло мокрой шерстью и ржавчиной, поверх которых лежал химический привкус, едва уловимый, как плохая шутка. Кас толкнул дверь «Финча».

В пабе было тепло, и от этого сразу заболели пальцы. За стойкой стоял мужчина в фартуке, с седыми висками и лицом, которое, казалось, забыло, как выглядеть моложе сорока. Он протирает стакан. Кас посмотрел и понял, что стакан уже чистый. Мужчина продолжал тереть ткань кругом, по инерции, будто руки сами знали работу лучше, чем голова.

В углу стоял музыкальный автомат. Лампочка в нём горела, но пластинка не крутилась. Из динамика сочился тихий треск, как будто кто-то далеко курил и не мог затушить.

— Закрыто, — сказал мужчина, не поднимая глаз.

— Дверь не заперта.

Теперь он посмотрел. Взгляд был не враждебный, просто уставший.

— Для местных — да. Для тебя — нет.

Кас снял капюшон. Вода потекла по волосам на воротник.

— Я Кас. Меррик.

Мужчина кивнул, будто имя ничего не меняло.

— Гарланд. Садись. Кофе есть. Гадость.

— Мне подойдёт.

Гарланд налил в кружку тёмную жижу и придвинул её по стойке. Кас обхватил кружку ладонями. Тепло вошло в пальцы больно, как иглы. Он сделал глоток и поморщился: кофе действительно был гадким, но хотя бы горячим.

— Родственник? — спросил Гарланд.

— Брат.

Гарланд посмотрел на него внимательнее. Не с жалостью. С тем профессиональным интересом, с которым в маленьких городах отличают чужаков от тех, кто просто долго отсутствовал.

— Похожи.

— Говорят.

— Дэш говорил, ты не приедешь.

— Дэш много говорил.

— Про воду тоже говорил. Что найдёт. Что все найдут.

Кас не ответил. Гарланд вернулся к стакану. Ткань снова зашуршала по стеклу.

— Если он ещё раз протрёт, стакан испарится, — сказал Кас.

Гарланд чуть усмехнулся, без радости.

— Может, и к лучшему. Я тут тридцать лет мою посуду за людьми, которые умирают быстрее, чем платят.

Это не было мудростью. Это была бухгалтерия. Кас понял, что Гарланд не станет говорить о брате, если сам Кас не попросит. И не стал.

Он достал телефон. Экран мигнул, показывая, что батарея держится на честном слове. Кас нашёл голосовое. Дата: три дня назад. Время: без четверти три ночи. Он нажал воспроизведение и убавил звук до шороха.

Сначала послышалось дыхание. Тяжёлое, рваное, будто Дэш бежал или просто не мог вдохнуть. Потом шелчок, шорох одежды, ветер.

— Кас... нет, чёрт.

Пауза. Слышно, как кто-то сглотнул.

— Если до утра не наберу... не ищи меня в реке. Посмотри в церкви. Не в подвале. В церкви. Слышишь? В церкви.

Голос сорвался. На фоне проехал поезд или грузовик, металлический скрежет, и Дэш повысил тон, почти закричал:

— И не верь тому, кто первый скажет, что я утонул! Ладно? Не верь. Я не... там не вода. Там...

Сообщение оборвалось. Стало тихо, и в тишине остался только писк автоответчика.

Кас переслушал. Потом ещё раз. Потом ещё. Он понял слова с первого раза. Просто голос брата был живым. Живой голос в мёртвом телефоне не укладывался, как кость не в своё гнездо.

Гарланд делал вид, что протирает стойку. Кас поднял глаза.

— Он звал не за помощью, — сказал Кас тихо. — Он звал, чтобы я приехал на его труп.

— Может, не специально.

— Может, — согласился Кас, и в горле у него встал ком. — Но всё равно мудака.

Он сказал это вслух, в пустой паб, в остывающий кофе. Гарланд не обернулся. Может, не услышал. Может, услышал и решил, что так честнее.

Кас снова включил сообщение. На этот раз он слушал не слова, а дыхание брата. Дэш всегда дышал громко, когда волновался. В детстве Кас будил его этим шумом, а потом злился, что брат не умеет спать тихо. Теперь этот шум был единственным доказательством, что Дэш когда-то был живым, а не делом, которое нужно закрыть.

В голове у Каса складывалась грубая, некрасивая мысль: ты не мог позвонить нормально? Не мог сказать: «Кас, приезжай, мне нужна помощь»? Ты должен был сдохнуть, чтобы оставить мне голосовое на автоответчике?

Он ненавидел себя за то, что злится на мёртвого. Ещё сильнее он ненавидел себя за то, что злиться было легче, чем горевать.

Дверь паба открылась, впуская запах дождя и мокрой собаки. Вошёл мужчина в тёмной куртке, с капюшоном, на котором сидели капли, как бусины. Он был немолодой, но не старый: седина у висков, шрам над бровью, пальцы крупные, с въевшейся грязью под ногтями. Обычный. Местный.

— Логан, — кивнул Гарланд.

Мужчина кивнул в ответ.

— Пиво. Любое.

Гарланд поставил бутылку. Логан сел у стойки, не слишком близко к Касу, но и не в другом конце зала. Он открыл крышку, сделал глоток и посмотрел в окно, где дождь рисовал по стеклу кривые линии.

— Ты Кас? — спросил он, не оборачиваясь.

— Кас.

— Слышал, приехал.

— Слухи тут быстрее автобусов.

Логан чуть повернул голову. В его глазах не было ни враждебности, ни любопытства хищника. Было что-то бытовое, как у человека, который пытается вспомнить, выключил ли утюг.

— Дэш говорил про тебя. Что ты снимаешь чужие войны.

— А он искал свою.

Логан помолчал. Покрутил бутылку в руке.

— Я нашёл его утром. У моста. Прости, что не сразу позвонил. Связь... сам видишь.

Кас видел. Видел и то, как Логан не знает, куда деть большие руки. Пальцы сжимали стекло, разжимались, снова сжимали. Это было живее любой речи.

— Тебе не за что извиняться, — сказал Кас.

— Может, и есть.

Логан допил пиво слишком быстро, будто хотел закончить разговор, пока не сказал лишнего. Потом вспомнил про камеру и кивнул на неё.

— Всё ещё снимаешь?

— Привычка.

— Плохая.

— Как и дождь.

Логан усмехнулся. Устало.

— Лесник обещал открыть объезд к среде. К среде тут всё либо сгниёт, либо высохнет.

— Тогда зачем обещать?

— Чтобы люди не стреляли в почту, — сказал Логан. — Тут от безделья до беды один трактор.

Кас почти поверил, что разговор идёт о дороге. Потом понял, что Логан говорит о дороге, чтобы не говорить о Дэше. Это было по-человечески глупо и по-человечески правильно.

— У меня грузовик, — сказал Логан. — Могу подбросить до бюро. Пешком там паршиво, особенно с таким багажом.

Кас посмотрел на дверь, за которой начиналась глина и река. Подумал, что если сядет в чужую машину, то будет иметь возможность выйти только когда Логан решит. Эта мысль не испугала его. Просто была неудобной, как мокрый носок.

— Не надо, — сказал Кас.

Логан пожал плечами.

— Как хочешь. Мэйрин там. С Уной.

Имя дочери отозвалось в груди тупо, без боли. Кас помнил Уну маленькой. Потом перестал помнить. Двенадцать лет — это не срок, за который забываются лица. Это срок, за который начинаешь бояться, что забыл.

— Уна выросла, — сказал Кас.

— Не по годам, — ответил Логан. — Рисует много. Молчит много. Как мать.

Гарланд поставил перед Логаном вторую бутылку, хотя тот не просил. Логан не стал спорить. Он посмотрел на Каса чуть дольше, чем нужно. Как человек, который пытается примерить чужое лицо к старой фотографии. Потом отвёл взгляд к окну.

Кас заметил это и тут же одёрнул себя. Здесь все смотрели слишком долго. Дождь и река заставляли людей задерживаться на лицах, будто они искали в них ответ, которого там не было.

Логан допил пиво, оставил сдачу на стойке и вышел, не попрощавшись. Дверь закрылась, и в пабе снова остался только треск автомата и шуршание тряпки по стеклу.

Кас поставил кружку. Кофе остыл, на поверхности плавала плёнка, похожая на ту, что он видел на реке. Он убрал телефон в карман, встал. Ноги гудели после дороги, а в висках стучало. Всё в нём говорило: останься, досиди до утра, пусть другие открывают двери.

Гарланд наконец перестал тереть стакан.

— Ты уверен? — спросил он.

— Нет.

— Тогда зачем?

Кас посмотрел на дверь, ведущую в подсобку, откуда тянуло холодом и хлоркой. Слабо, почти ласково, как из старого бассейна, который закрыли на зиму и забыли вылить воду.

— Потому что он там, — сказал Кас.

Гарланд кивнул, будто это был единственный разумный ответ в этом городе.

— Мэйрин не откроет сразу. Не принимай на свой счёт. Она всех боится выпустить наружу.

— А я не наружу.

— Все не наружу, — сказал Гарланд. — Пока не станут.

Кас оставил на стойке купюру, больше, чем стоил кофе. Гарланд не стал спорить. В таких местах деньги часто значили меньше, чем молчание, но принимали их охотно.

Дождь снаружи стал мельче, но от этого не стал добрее. Он просто перешёл в состояние постоянной влажности, от которой одежда липла к телу, а дыхание стало мокрым. Кас шёл по обочине, прижимая камеру к боку. Глина тянула ботинки, река внизу темнела, и плёнка на ней уже не казалась бензиновой. Казалась просто грязной.

Похоронное бюро стояло отдельно, ниже дороги, среди мокрых елей. Вывеска «Дарроу и сыновья» покачивалась, скрипела, и каждый раз, когда ветер наваливался на жёсть, Касу казалось, что кто-то внутри пытается остановить её рукой. Он дошёл до крыльца, поднялся по ступенькам, которые просели посередине, и остановился перед дверью.

В кармане лежал телефон с голосом мёртвого брата. Впереди — дверь с табличкой, на которой когда-то были написаны сыновья. Сыновей не было. Была дочь. Кас знал это. Или думал, что знал. Двенадцать лет — срок, за который человек успевает забыть даже собственное имя, если очень старается.

Он потянул дверь на себя. Холод вышел первым, сухой и стерильный, с привкусом формалина и остывшего кофе. Где-то внутри гудела холодильная камера, низкий бас, который отозвался в зубах. Кас переступил порог.

Глава 2. Руки Мэйрин

Вода обжигает, но Мэйрин не убавляет кран. Она считает не секунды — трещины. Три на левой костяшке, четыре на правой. Кожа лопается, стягивается, лопается снова. Семь лет тело помнит этот ритуал: шесть раз в день, кипяток, тереть до красного. До честного. Боль — единственное, что здесь не врёт.

Она закрывает кран. Капли отсчитывают метроном: раз, два, три, четыре. Пятая падает на костяшку, и тело вздрагивает от холода — само, раньше головы. Вытирает руки бумажным полотенцем. Трёт сильно. Бумага цепляется за трещины, рвётся. Второе полотенце. Кожа горит. Хорошо.

Подвал пахнет озоном. Ксерокс кашляет на каждом третьем листе, как старый курильщик. Мэйрин кладёт следующий оригинал, прижимает крышкой. Свет бьёт под стекло — белый, резкий, на полсекунды. Лист выползает тёплый. Тонер. Палёная пыль. Не формалин. Не кофе, который стоит на плите с шести утра и к обеду превращается в бурую плёнку. Тонер — единственный запах в здании, который не пахнет чьей-то смертью. Копии идут в коробку. Четвёртая. Три уже под полом.

Мэйрин не думает: я храню правду. Пальцы думают. Пальцы кладут лист на лист, выравнивают край, прижимают. Голова догоняет потом. Иногда через год. Иногда через семь лет. Иногда не догоняет вообще, и тогда Мэйрин просто моет руки. Горячей водой. До красного.

Сорок три заключения. Сорок три раза она написала «сердце» вместо рака, «пневмония» вместо опухоли, «несчастный случай» вместо верёвки. Если бы за каждую ложь давали доллар, она бы уже переехала в Монтану. В другую. Без реки. Без Тисл-Бенда. Без ксерокса.

Она ставит печать на копию. Большой палец упирается в край стола. Костяшка в дерево. Боль маленькая, знакомая. Семь лет этот упор. Семь лет большой палец помнит край стола лучше, чем лицо матери.

Рут сидел напротив. Ручка тёплая. Его пальцы держали её до этого — Мэйрин помнит не слова, помнит температуру. Тёплая. Чужая. Потом своя. Ленн стоял у окна, мял стетоскоп, не смотрел. Мэйрин взяла ручку. Подписала. Чернила легли ровно. Подпись — это не автограф. Это шрам. Каждый раз новый. А потом они сливаются в один. И ты перестаёшь чувствовать, где чей.

Под столом — макушка. Уна. Сидит на полу, блокнот на коленях, карандаш 6В, жирный, тёмный. Пальцы серые от грифеля. Волосы пахнут яблочным шампунем. Единственный запах в здании, который не пахнет смертью. Мэйрин видит только макушку и слышит шуршание. Грифель по бумаге. Мягкое. Постоянное. Как дыхание.

В кармане халата — письмо. Нашла утром. В папке, под анализами. Почерк круглый, нажим на «т», наклон вправо. Она не перечитывает. Уже выучила. Бумага шуршит при каждом шаге. Пахнет чернилами и чем-то металлическим. Как кровь из пореза. Как ключ, который долго лежал в кармане.

Третья ступенька скрипнула. Наверху. Мэйрин знает это телом. Семь лет она поднимается и опускается. Третья скрипит на подъёме. Пятая — на спуске. Это её метроном. Не ксерокс. Не компрессор. Третья ступенька.

Уна зашуршала карандашом быстрее. Мэйрин не оборачивается. Знает: дочь рисует реку. Синюю, жирную, в три слоя. Размазанную мокрым пальцем. Знает, потому что Уна рисует реку каждый день. Три месяца. С тех пор как увидела.

Стук в дверь. Мэйрин вздрагивает. Не от стука. От того, что вздрогнула. Она не вздрагивала три года. Тело забыло, как это делается. Вспомнило. Руки лезут в карманы. Ногти в ладони. Кожа сухая, не лопается. Просто боль. Маленькая. Знакомая. Она открывает.

На пороге Касл Меррик. Мокрый. Дождь стекает с волос на куртку, с куртки на порог. Камера на плече, ремень врежется в ткань. Ботинки в глине. Глина на подошвах чавкнула, когда он переступил. И запах. Мэйрин не думает: какой он злой. Не думает: какой он уставший. Она думает: от него пахнет не формалином. Дождь. Бензин. И под этим — что-то тёплое. Кожа. Табак. Чужой мужчина в её пространстве, где семь лет всё пахнет остывшим кофе и смертью. Тело вспомнило, что бывают другие запахи. Живые. Она злится на себя за это. Злится и не отступает.

Кас смотрит на неё. Не поднимает камеру. Но мозг уже кадрирует: женщина в дверном проёме, свет из коридора за спиной, силуэт. Руки спрятаны. Не видно пальцев. Значит, прячет. Значит, есть что прятать. Широкий угол. Дистанция полтора метра. Она не отступает. Значит, не боится. Или боится так давно, что забыла, как это выглядит.

— Вы Дарроу? — Вы Меррик. — Не вопрос. Она узнала. По скулам. По тому, как он держит камеру — не как инструмент. Как щит. — Мой брат у вас. — Ваш брат в камере номер три. — Она не говорит «в холодильной камере». Не говорит «тело». Говорит «в камере номер три». Как будто он на хранении. Как вещь. Семь лет. Слова «тело» и «умерший» стёрлись. Остались номера. — Я хочу его видеть. — Сейчас? — Сейчас.

Второй раз за сутки кто-то входит и требует мёртвого. Хоть бы кто спросил, где туалет. Или кофе. Кофе она хотя бы может предложить. Туалет — нет. Трубы замёрзли в ноябре.

Она отступает. Не потому что боится. Потому что знает: если не отступить, он войдёт. А если войдёт без приглашения — будет хуже. Для обоих.

Кас переступает порог. Капли с его волос падают на кафель. Тёмные точки на белом. Камера стучит о грудь при каждом шаге. Мэйрин слышит этот стук. Он не похож на компрессор. Не похож на ксерокс. Живой звук. Механический, но живой. Они идут по коридору. Мэйрин впереди. Шаги мокрые. Кас за ней. Она чувствует его взгляд между лопатками. Не оборачивается. Пальцы в карманах сжимаются. Ногти в ладонь. Один раз. Больше не повторю.

Холодильная. Мэйрин открывает камеру три. Поддон выезжает. Скрежет направляющих — металл по металлу, смазка высохла. Звук, как когда открываешь старый ящик с инструментами в гараже. Тот самый. Дэш. Серый. Не синий. Серый. Как глина, которую забыли в воде. Рот приоткрыт. Она закрывала. Мёртвые не держат.

Кас поднимает камеру. Мэйрин кладёт руку на объектив. Её пальцы ложатся на металл. И задевают его пальцы. Полсекунды. Оба отдергивают руки, как от ожога, и продолжают движение без паузы. Она чувствует: его пальцы тёплые. Не холодные, как всё здесь. Тёплые. Живые. Она убирает руку первой. Не потому что нельзя. Потому что можно. И это пугает больше, чем нельзя.

— Только не в лицо. — Почему? — Он не любил, когда его снимают. При жизни. Не люблю, когда при смерти.

Кас опускает объектив. Смотрит на шею. Борозда. Тонкая. Ровная. Не размытая. Вода не оставляет ровных линий. Вода размывает. А это — чёткое. Глубокое. Верёвка. Макро. Диафрагма два и восемь. Край борозды в фокусе. Обрывки волокон. Фиолетовая ткань. Синюшные края. Вспышка. Белая. Резкая. Пахнет озоном. Щелчок. Ещё один. Ещё. Кас снимает след от верёвки на шее брата. Считает кадры. Один. Два. Три. Если считать кадры — не нужно считать дни с последнего разговора. Четыре. Пять. Камера — его щит. Пока снимает — не чувствует. Перестает снимать — чувствует. Поэтому снимает.

Мэйрин стоит у раковины. Моет руки. Не оборачивается. Но видит его руки боковым зрением. Тонкие пальцы. Костяшки сбиты. Не нежные. Рабочие. Руки человека, который держит камеру в зонах, где стреляют. Она ненавидит себя за эту мысль. На столе лежит его брат. А она смотрит на его руки. Семь лет в морге, а тело всё равно смотрит.

Кас опускает камеру. Поворачивается. — Ты знала. — Не вопрос. Голос усталый. Как человек, который констатирует факт и не хочет ругаться. — Знала. — И подписала «утопление». — Подписала. Печать поставила. Сама.

Пауза. Компрессор выдыхает. Набирает обороты. Гул идёт зубами, не ушами. — Почему?

Мэйрин смотрит на его руки. На камеру. На то, как он её держит. Как будто если опустит — упадёт. — Если ты опубликуешь это, мою дочь заберут. — Ты убила моего брата. — Я похоронила твоего брата.

Тишина. Та, которая бывает после выстрела. Когда звук уже кончился, а уши ещё не поверили. Капает вода из крана. Кап. Пауза. Кап.

Кас смотрит на куртку Дэша. Та висит на крюке у стены. Серая. Мокрая. Он трогает подкладку. На внутренней стороне — пятно. Не кровь. Табачный пепел. Серый, вьёвшийся в ткань. Кас знает этот запах. Тот же сорт, что курит Меррит. Замечает. Не говорит. Запоминает. Кадр в голове: пепел на подкладке. Средний план. Фокус. Не сейчас. Потом.

Из-за двери коридора — шорох. Карандаш по бумаге. Уна. Не в подсобке. Под столом. Сидит на полу. Блокнот на коленях. Пальцы серые от грифеля. Поднимает голову. Смотрит на Каса. Не пугается. Не прячется. Смотрит так, как смотрят дети, которые видели больше, чем взрослые думают. — Вы тоже пришли посмотреть на мёртвого?

Кас замирает. — Что? — Очередь маленькая. Обычно один-два человека. Вы третий за неделю. Мама говорит, это сезон.

Мэйрин из-за спины: — Уна. — Что? Я сказала «сезон». Не «распродажа».

Кас садится на корточки, контролируя движение, чтобы не удариться коленями о кафель. Не нависает. На уровень её глаз. Колени мокрые от пола. Камера болтается на шее, бьёт о грудь. Уна не отводит взгляд. Карандаш в пальцах. 6В. Жирный. Тёмный. Она рисует. Линия реки — жирная, в три слоя, синяя, размазанная мокрым пальцем. На берегу фигурка. Лежит. Контур размыт, будто растворяется. Над ней — вторая. Стоит. В руке длинная линия. Не палка. Верёвка. Уна рисует её с нажимом. Карандаш впирается в бумагу. Грифель крошится. Она не замечает.

Кас смотрит на рисунок. Не поднимает камеру. Не снимает. Впервые за сутки не прячется за стеклом. — Кто это стоит?

Уна не отвечает сразу. Карандаш замер. Не сломался. Замер. Как стрелка компаса, которая не знает, где север. — Тот, кто держал. — Кого держал? — Дядю Дэша.

Пауза. Карандаш снова двигается. Быстрее. Рваные линии. Не рисунок. Судорога графита. — Ты видела?

Уна не поднимает головы. — Я рисую то, что вижу. Мама сказала: то, что мы видим, мы оставляем дома.

Мэйрин стоит за спиной Каса. Пальцы сжаты. Не в карманах. В кулаки. Ногти в ладони. Кожа лопнула. Боль маленькая. Знакомая. В углу рисунка — третий человечек. Маленький. Рядом жёлтый круг. Уна рисует его другим карандашом. Мягким. 2В. Не давит. Просто проводит. Жёлтый. Яркий. Как лампа над раковиной. — А это кто? — Кас показывает на круг. — Конфета. — Чья конфета?

Уна поднимает голову. Глаза серьёзные. Не детские. Не взрослые. Просто внимательные. — Он даёт конфеты. — Кто?

Уна не отвечает. Карандаш снова двигается. Рисует четвёртого человечка. В углу. Маленького. С круглым жёлтым пятном в руке.

Мэйрин опускается на корточки. Колени ударяются о кафель. Холодно. Она берёт Уну за плечи. Пальцы чувствуют тонкие кости. Тёплую кожу. Ткань кофты. — Ты кому-нибудь рассказывала? — Никому. Ты же сказала: то, что мы видим, мы оставляем дома.

Мэйрин обнимает. Крепко. Слишком крепко. — Мам. Ты мне делаешь больно.

Мэйрин отпускает. Смотрит на свои руки. На трещины. На сухую кожу. На ногти, обкусанные до мяса. Руки, которые семь лет закрывали глаза мёртвым. А теперь не могут обнять живую, не причинив боль.

Кас встаёт. Колени хрустят. Камера на плече. Он идёт к двери. Мэйрин не останавливает. Не говорит «подожди». Не говорит «уходи». Руки опущены вдоль тела. Пальцы расслаблены. Впервые за голову — не в карманах. Не в кулаках. Просто висят.

На пороге он останавливается. Обернулся. — Мэйрин.

Она не вздрагивает. Имя в его голосе звучит не как обращение. Как подтверждение. Что она существует. Что он её увидел. Не функцию. Не «Дарроу». Мэйрин. — Что он имел в виду? «Не в подвале. В церкви.»

Мэйрин молчит. Три секунды. Пять. Кас считает. Как кадры. — Не знаю, Кас.

Она врёт. Он видит это. Не по глазам. По рукам. Правая рука дёрнулась к карману. К письму. И остановилась. Тело выдало раньше головы. — Но если Дэш сказал «в церкви» — значит, не в подвале.

Пауза. Капание воды. Скрип ступеньки наверху. Уна поднялась. — Иди. Пока дождь не усилился.

Кас выходит. Дверь закрывается. Щелчок. Мэйрин стоит. Слушает шаги. Мокрые. Тяжёлые. Затихают. Она не двигается. Десять секунд. Двадцать. Потом подходит к раковине. Включает воду. Горячую. Моет руки. Костяшки горят. Кожа трескается. Она не убавляет.

Подвал. Ксерокс. Мэйрин не включает его. Стоит. Смотрит на аппарат. На стекло, под которым последний лист. Копия заключения. «Сердечная недостаточность». Чьё-то имя. Не помнит чьё. Сорок три заключения. Иногда имена стираются. Не специально. Просто тело забывает.

Тишина. И тишина громче гула. Потому что в тишине слышно, как капает вода из крана наверху. Третья ступенька скрипнула. Уна пошла спать. Мэйрин достаёт письмо из кармана. Разворачивает. Почерк Дэша. Круглые буквы. Нажим на «т». «Не в подвале. В церкви.» Она складывает. Прячет обратно. Бумага шуршит. Пахнет чернилами. И чем-то ещё. Металлическим. Как кровь из пореза. Как ключ. Как то, что она не знает.

Наверху — шуршание. Карандаш по бумаге. Не скрип. Шуршание. Живой звук. Не компрессор. Не ксерокс. Карандаш. Уна рисует. Мэйрин не поднимается. Не смотрит. Знает, что там. Река. Человечки. Один лежит. Другой стоит. Третий — маленький. С жёлтым кругом.

Мэйрин выключает свет в подвале. Темнота. Капание воды. Скрип третьей ступеньки наверху. Уна легла. Мэйрин стояла в темноте. Руки опущены. Пальцы расслаблены. Впервые за семь лет — не сжаты. Не спрятаны. Просто висят. Ждут. Не знают чего. Но ждут.

Глава 3. Холодильная камера

Палец лежал на спуске. Кас чувствовал подушечкой холод металла, ребристую насечку. Мозг считал сам, как забытый калькулятор: диафрагма 2.8, выдержка одна шестидесятая, ISO восемьсот. Вспышка в лоб или под сорок пять. Макро на борозду или общий план с поддоном и руками Мэйрин на заднем фоне, размытыми. Брат лежал в полуметре от объектива, серый, с приоткрытым ртом. Мэйрин закрывала его дважды. Дважды он открылся снова. Мёртвые не держат. А Кас подбирал выдержку. Это бесило. Пятнадцать лет в зонах, где стреляют, научили: пока считаешь настройки, не думаешь о том, что в рамке. Камера была протезом. Без неё он не умел стоять. С ней — свидетель. Без неё — брат. А братом быть больнее. Он не нажимал. Пока не нажал — это ещё не доказательство. Ещё просто тело. Ещё можно думать: Дэш спит. Дэш устал. Дэш сейчас перевернётся, скажет «ты чего снимаешь, идиот», и всё вернётся. Пока затвор не щёлкнул, время не пошло.

За спиной шумела вода. Мэйрин стояла у раковины. Не оборачивалась. Мыла руки. Кас слышал: струя бьёт в металл, плещет на кафель, стекает в слив с бульканьем. Вода горячая — он видел пар, тонкий, едва заметный в белом свете ламп. Её пальцы двигались методично. Семь лет обмывала чужих. Знает, где кожа тоньше, где суставы жёстче, где шея поддается, а где нет. Сейчас она не думала о борозде. Кас видел это по плечам — ровные, опущенные. Она думала о воде. О том, что вода должна быть тёплой, не горячей, иначе кожа стягивается и потом не разгладишь. Руки помнили. Голова догоняла потом. Иногда через день. Иногда через неделю.

Кас надавил. Затвор дрогнул. Щелчок. Вспышка. Белая, резкая, как пощёчина. Озон ударил в ноздри — металлический, сухой, как воздух после грозы, когда стоишь на крыльце и пахнет не дождём, а электричеством. Мэйрин шурится. Не оборачивается. Продолжает тереть костяшки. Кожа на них красная, стянута, в трещинах. Кас снимает шею. Макро. Края борозды в фокусе. Обрывки волокон — фиолетовые, синюшные, вдавленные. Вспышка. Ещё одна. Щелчок. Ещё. Три. Четыре. Пять. Палец нажимает сам. Камера щёлкает, и каждый щелчок — как глоток воздуха. Пока снимает — не чувствует. Перестаёт — чувствует. Поэтому снимает. Шесть. Семь. Восьмой кадр. Кас не помнит, зачем восьмой. Пальцы крутят кольцо фокусировки. Резкость уходит, Кас ловит её заново. Он видит борозду через стекло видеоискателя. Увеличенную. Подробную. Чужую. Через стекло — чужую. Без стекла — брата.

Гул компрессора шёл через зубы. Не через уши — через челюсть, через корни моляров, через кости черепа. Низкий, ровный, на грани слышимости. Кас чувствовал его скулами. Холод был не на коже. В костях. В запястьях. В фалангах пальцев, которые сжимали корпус. Ботинок жал левый мизинец. Купил вчера в Миссуле, не разносил. Теперь мизинец ныл. Глупая мысль. Но она держала. Не давала думать о другом.

Из соседней комнаты тянуло кофе. Остывшим. Тем самым, который стоит на плите с шести утра и к обеду превращается в бурую плёнку. Кас почувствовал запах и подумал: гадкий. Такой же, как у Гарланда. В этом городе весь кофе гадкий. Мысль была нелепая. Брат лежал на поддоне с бороздой от верёвки на шее, а Кас думал о кофе. Но мысль была. Живая. Бытовая. И за неё можно было держаться.

Он опустил камеру. Мэйрин вытирала руки. Бумажным полотенцем. Тёрла сильно, с нажимом, как будто смывала не воду, а что-то вьевшееся. Полотенце шуршало в тишине. Грубое. Серое от тонера. Кожа на костяшках красная, в мелких трещинах. Кас смотрел на её руки. На то, как она трёт. Как сжимает бумагу в кулак. Как разглаживает. Снова трёт.

— Ты знала.

Голос вышел усталый. Плоский. Не обвинение. Констатация. Как человек, который говорит «дождь идёт» и не злится на небо. Кас не хотел ругаться. Не сейчас. Не здесь. Ругаться — значит кричать. А кричать при Дэше было нельзя.

Мэйрин бросила полотенце в ведро. Не обернулась.

— Знала.

Пауза. Компрессор гудел зубами. Капнула вода из крана. Одна. Кас смотрел на брата. На серый профиль. На рот, который снова приоткрылся, пока он снимал. На руки, сложенные на животе. Правая. Въевшееся пятно чернил между средним и безымянным пальцем. Дэш всегда так держал ручку. Не между указательным и средним, как нормальные люди. Между средним и безымянным. Кас помнил. Помнил, как в детстве мать доставала фотоаппарат на днях рождения, и Дэш нырял за шторку. Прятался. Говорил: «Я не для этого». Мать смеялась. Доставала его за ухо. Он вырывался.

— Он не любил, когда его снимают, — сказал Кас. Тихо. Не Мэйрин. Себе. Брату. Воздуху.

Мэйрин перестала тереть руки. Полотенце замерло в пальцах. Неподвижное. Она не обернулась. Но Кас видел: плечи чуть опустились. Она слышала. Тишина. Капание. Гул.

— Кофе хочешь? — Мэйрин сказала это в раковину. Не оборачиваясь. Голос ровный. Бытовой. Как спрашивают «хлеб взять?» в магазине.

— Плохой. Но тёплый.

Кас посмотрел на неё. На тело брата. На её спину. На то, как она стоит — ровно, чуть наклонившись к крану, руки под струёй. Семь лет. Иначе не выжить.

— Нет.

— Ладно.

Она налила. Из чайника, который стоял на полке над раковиной. Кружка. Эмалированная. С отбитым краем. Глоток. Поставила. Вернулась к раковине. Включила воду. Снова мыла руки. Кас не знал, который раз за вечер.

— Кто его нашёл?

Мэйрин не обернулась. Вода шумела.

— Логан Кейн.

Пауза. Кас ждал. Мэйрин закрыла кран. Вода перестала течь. Тишина стала громче.

— Он всегда находит.

Кас не понял, что это значит. Не переспросил. Но запомнил. Как запоминают кадр: свет, угол, деталь, которая не влезает в композицию, но остаётся в памяти. Логан Кейн. Всегда находит.

Шаги в коридоре. Медленные. Тяжёлые. Подошва по линолеуму — липкий, чавкающий звук, как будто пол не отпускает. Кас услышал раньше, чем увидел. Мэйрин замерла. Перестала дышать. Или дышала тише. Кас не понял. Но увидел: её пальцы над раковиной остановились. Вода текла. Пальцы — нет.

Дверь открылась. Меррит. Без формы. Мятая рубашка, воротник расстёгнут, одна пуговица отсутствует. Под глазами — тени, глубокие, как синяки. Он не смотрел на Каса. Смотрел на стол. На поддон. На борозду. На камеру в руках Каса. Потом перевёл взгляд на Мэйрин. Долго. Как человек, который видит одну и ту же картину десятый раз и устал удивляться.

— Опять.

Меррит стоял у стола, глядя на борозду.

— Опять.

Он подошёл к столу. Не торопясь. Не крадучись. Просто подошёл. Посмотрел на борозду. Долго. Наклонился. Выпрямился. Посмотрел на Мэйрин.

— Ты знаешь, что я должен.

— Знаю.

Меррит молчал. Секунду. Две. Кас считал. Не кадры. Секунды. Привычка.

— Но не сегодня.

Пауза. Меррит смотрел на Мэйрин. Не на глаза. На руки. На красные костяшки. На трещины.

— Двадцать четыре часа.

Повернулся. Пошёл к двери. Не объяснил. Не извинился. Не сказал «мне жаль». Четыре фразы. Хватит. Больше не мог. Или не хотел. Кас не знал. Когда Меррит проходил через дверной проём, Кас увидел: из заднего кармана рубашки торчит уголок бумаги. Белый. Не ордер. Не бланк. Что-то другое. Меррит прижал его ладонью. Быстро. Машинально. Как прижимают то, что не должны видеть. Кас не разглядел. Не успел. Но жест запомнил. Пальцы на бумаге. Ладонь, которая прижимает. Тело, которое прячет. Кадр в голове. Средний план. Фокус на руке. Записать. Не сейчас. Потом.

Шаги стихли. Линолеум чавкнул в последний раз. Дверь закрылась. Мэйрин выдохнула. Кас слышал. Не увидел. Услышал. Долгий, тихий выдох, как из проколотого мяча. Он не смотрел на неё. Смотрел на Дэша. На брата. На пятно чернил между пальцами. Но слышал.

Кас собрался. Камера на плечо. Рюкзак. Молния застегнулась с сухим шелчком. Он кивнул Мэйрин. Не прощание. Не благодарность. Просто: я ухожу. Она кивнула в ответ. Не обернулась. Вода снова шумела. Костяшки снова красные.

Коридор. Линолеум лип к подошвам. Свет мигнул один раз и стабилизировался. Белый. Больно глазам после полумрака холодильной. Кас шёл быстро. Камера билась о грудь. Ботинок жал мизинец. Телефон в кармане — заряд почти на нуле. Надо зарядить. Надо позвонить. Надо. Надо. Надо.

Он вышел из холодильной. Из коридора. Из подсобки, где Уна рисовала на полу и не поднимала головы. Из приёмной с жестяной вывеской. Толкнул дверь. Логан стоял в коридоре. Не за спиной Меррита. Не в дождевике. В рабочей куртке. Серой. Потёртой на локтях. Руки в карманах. Не улыбался. Не махал. Просто стоял. Смотрел. Кас сделал два шага и только потом увидел. Остановился. Логан не протянул руку. Не сказал «соболезную». Посмотрел на Кас так, как смотрят на человека, которого ждут. Не с нетерпением. С привычкой. Как ждут автобус, который всегда опаздывает.

— Дорогу размыло, — сказал Логан. Голос ровный. Бытовой. Как сводка погоды. — До среды не уедешь.

Кас молчал. Не понимал, зачем это. Зачем говорить о дороге человеку, у которого брат на столе в трёх метрах. Логан смотрел. Ждал. Не торопил.

— Если понадобится, — Логан чуть повернул голову, — я в гараже. За школой.

Развернулся. Ушёл. Не обернулся. Шаги по линолеуму. Чавкающие. Ровные. Потом тишина. Кас стоял. Смотрел ему в спину. В серую куртку. В руки, которые не вынимал из карманов. Зачем он здесь. В морге. В три часа ночи. Не к Дэшу. Не к телу. Просто здесь. Просто стоит. Просто говорит про дорогу. Кас не спрашивал. Некому было спрашивать. Мэйрин за спиной молчала. Уна рисовала. Компрессор гудел зубами.

Он вышел. Дождь. Мелкий. Злой. Глина чавкала под ботинками. Камера билась о бедро. Кас шёл по обочине. Не к дому Мэйрин. Просто шёл. Ноги несли. Ботинок жал. Телефон — заряд почти на нуле. Кофе в пабе был гадкий. В этом городе весь кофе гадкий.

Он обернулся. Один раз. В окне морга горел свет. Силуэт. Не Мэйрин. Другой. Шире в плечах. Стоит неподвижно. Не двигается. Не наклоняется. Просто стоит. Кас не видел лица. Стекло было мутным от конденсата. Не уверен, что видел. Может, показалось. Может, тень от стеллажа. Может, куртка на крюке. Может. Кас отвернулся. Пошёл дальше. Глина чавкала. Дождь висел в воздухе мелкой взвесью. Ботинок жал мизинец. Камера билась о грудь. Живой звук. Механический, но живой. За спиной, в мутном окне, силуэт не двигался. Или двигался. Кас не обернулся второй раз.

Глава 4. Ключ в подкладке

Левый ботинок жмёт в мизинец. Купил вчера в Миссуле, у автовокзала, в лавке, провявшей резиной и чужим потом. Продавец сказал — разносите. Кас не разносил. Надел сразу. Пошёл. Теперь мизинец горит, ноготь упирается в кожу, и каждый шаг отдаётся тупой болью от стопы до колена. Глупая мысль. Но она держит. Пока мизинец горит — не нужно думать о борозде. О верёвке. О серой глине лица на поддоне.

Глина под подошвами чавкает. Не чмокает — чавкает, как жующий рот. Ботинки вязнут. Каждый раз, когда Кас выдёргивает ногу, подошва издаёт короткий выдох. Камера бьётся о бедро. Ремень врезался в плечо ещё в морге, на куртке останется вмятина. Кас поправляет ремень. Камера снова бьётся. Он перестаёт поправлять.

Дождь не бьёт. Висит. Мелкая взвесь, которая не летит, а оседает. Ресницы мокрые. Кас моргает часто. Со стороны — плачет. Не плачет. Просто ресницы. Просто взвесь. Просто Монтана в ноябре, когда небо лежит на крышах и не поднимается до марта.

Сосны по обочине. Кора шершавая, пахнет смолой и гнилью. Хвоя под ногами бурая, скользкая. Кас наступает на ветку. Она трещит. Тонкий, сухой, неуместный звук.

Телефон в кармане — двенадцать процентов. Сети нет, долина легла в туман, вышки не добивают. В пабе розетка была занята — Гарланд сушил в неё фен для стаканов, или что-то в этом роде. Кофе в пабе был гадкий. Кас выпил два глотка и оставил. В этом городе весь кофе гадкий. Или у него рецепторы сбились после автобуса. Шесть часов. Виски. Дождю всё равно.

Церковь. Кас видит её раньше, чем хочет. На холме, справа. Окна тёмные. Дверь заперта, на дверях табличка, которую не прочитает с обочины. Слишком далеко. Слишком мокро. Он останавливается. Стоит. Смотрит. Голосовое в голове, хриплое, быстрое, на ходу: не в подвале. В церкви. Кас не понимает. Не сейчас. Не здесь, на обочине, с горящим мизинцем и камерой, которая бьёт по бедру. Он идёт дальше. Оборачивается один раз. Церковь стоит. Тёмная. Запертая. Окна не горят. Может, там и не было света никогда. Может, она всегда так стояла. Молча. Ждала, пока кто-то придёт и спросит. Никто не приходит. Кас идёт дальше.

Мэйрин открывает после второго стука. Кас стучал неуверенно. Два раза. Пауза. Третий. Она открывает на третьем, как будто ждала не стука, а паузы между вторым и третьим. Не удивляется. Не спрашивает. Просто отступает. Вбок. Плечом к косяку. Руки в карманах халата. Всегда в карманах. Костяшки сухие, кожа на пальцах стянута, ногти обкусаны коротко, до розового. Она не подаёт руку. Не кивает. Просто отступает. Это её способ сказать: входи.

Кас входит. Внутри пахнет воском. И яблочным шампунем. Кас чувствует это сразу, на первом вдохе, как удар. В морге — формалин и остывший кофе. Здесь — воск. Тёплый, плотный. Свечи? Полироль для мебели? Не важно. И яблоко. Дешёвое. Из бутылки с отклеивающейся наклейкой. Детское. Кас стоит в прихожей, мокрый, с камерой на плече, и нюхает воздух, как собаку привели в чужой дом. Тело сбивается. Семь часов формалина, и вдруг — яблоко. Ноздри не знают, куда деться. Горло сжимается коротким спазмом.

Уна на полу. В коридоре, между кухней и гостиной. Сидит на линолеуме, ноги под себя. Лист большой, А3, плотный. Карандаш мягкий, 6В, тёмный, жирный. Линия толстая, с нажимом. Уна не поднимает голову. Не смотрит на Каса. Рисует. Карандаш шуршит по бумаге. Тихо. Постоянно. Как мышь за стеной.

Кас стоит над ней. Не знает, куда деть руки. Камера болтается. Он садится. Не рядом. В метре. На корточки. Колени мокрые от линолеума. Смотрит. Река. Жирная, в три слоя, размазанная мокрым пальцем. На берегу фигурка. Лежит. Контур размыт. Над ней вторая. Стоит. В руке длинная линия. Не палка. Кас смотрит. Линия с нажимом. Грифель впился в бумагу.

Крошится. Уна не замечает. В углу третий человечек. Маленький. Рядом жёлтый круг. Мягкий карандаш, 2В. Не давит. Просто проводит. Жёлтый. Яркий.

Мэйрин стоит у плиты. Греет воду. Чайник старый, со свистком, который не свистит, а шипит, как проколота шина. Она не объясняет рисунок. Не говорит: это река, это Дэш, это тот, кто держал. Просто греет воду. Кас не спрашивает. Смотрит. Понимает. Или думает, что понимает.

Уна рисует дальше. Карандаш шуршит. Не ломается. Шуршит. — Ты всегда на полу рисуешь? — спрашивает Кас. Голос звучит чужим в этой кухне, где пахнет воском и яблоком. Уна не поднимает головы. Карандаш ведёт линию. Река изгибается. — На столе буквы плывут. На полу нет. Пол ровный. Буквы не убегают.

Кас открывает рот. Закрывает. Не знает, что ответить. Мэйрин ставит чайник на плиту. Говорит, не оборачиваясь: — Не на обоях, Уна. — Это бумага. Не обои. Обои отклеиваются. Я их не трогаю. Мэйрин открывает рот. Закрывает. Не находит.

Кас смотрит на Уну. Уна смотрит на бумагу. Уголок рта Каса дёргается. Не улыбка. Почти. Не до конца. Мышца на щеке, и всё.

Уна рисует. Кас сидит на корточках. Колени затекли. Он переступает. Линолеум скрипит. Уна не поднимает головы. Карандаш шуршит. Чайник на плите начинает шипеть. Тихо. Не кричит. Шипит. Как мышь. Как кто-то маленький, который не хочет, чтобы его заметили.

— Где его вещи? Мэйрин не вздрагивает. Кивает в сторону прихожей. Вешалка. Серая парка. Мокрая. Тяжёлая от воды. Кас снимает её с крючка. Ткань холодная, скользкая. Пахнет рекой. Не химией. Органикой. Ил. Глина. Гниль. Что-то живое, которое умерло и не ушло.

Кас кладёт куртку на пол. Садится рядом. Не режет. Не ищет нож. Пальцы. Подкладка. Внутренний карман. Шов грубее, чем остальные. Не заводской. Кто-то зашил. Неаккуратно. Спешно. Нитка торчит. Кас цепляет ногтем. Тянет. Нитка гнилая. Рвётся. Но не сразу — ткань промерзла, пальцы не слушаются, вторая нитка лопается с сухим треском. Из щели — бугорок. Пальцы лезут внутрь. Кожа на подушечках цепляется за ткань. Кас нащупывает. Холодное. Нет. Тёплое. От трения. От его собственных пальцев.

Ключ. Латунный. Тяжёлый для своего размера. Кас крутит в пальцах. Надпись на головке. Не гравировка. Нацарапано. Чем-то острым. Ножом. Ногтем. Буквы неровные, глубокие, с зазубринами на металле. С. Н. U. R. С. Н. Не «церковь». Английское. Как будто Дэш царапал для себя. Не для другого. Для себя. Чтобы не забыть. Чтобы пальцы помнили, даже если голова откажет.

Голосовое. Хриплое. Быстрое. Не в подвале. В церкви. В голове вспыхивает кухня. Дэш держит нож. Не для хлеба. Для картона. Пальцы белеют на рукояти. Кас сжимает ключ. Зубцы впиваются в ладонь. Боль настоящая. Не та, что в мизинце от ботинка. Другая. Острая. Кас держит. Не разжимает. Смотрит на буквы. Church. Шесть букв. Одна царапина на перемычке. Дэш давил. Сильно. Как забивал гвоздь. Кас помнит, как брат держал ручку. Между средним и безымянным. Ручка скрипела. Мэйрин говорила: не продави стол. Дэш говорил: стол переживёт.

Мэйрин стоит в дверях кухни. Смотрит на ключ. Не на Каса. На ключ. Её пальцы в карманах халата сжимаются. Кас видит: ткань натянулась. Ногти в ладонь. Кожа лопается. Не кровь. Слишком сухая. Просто трещина. Она не чувствует. Или чувствует. Не показывает. Голова догоняет потом. Руки решают сейчас.

— Ты знаешь, что это, — говорит Кас. Не вопрос. Голос ровный. Но ключ в ладони сжат так, что костяшки побелели. — Знаю. — Ты знаешь, что там.

Мэйрин молчит. Чайник шипит на плите. Уна в коридоре рисует. Карандаш шуршит. Кас считает секунды. Не нарочно. Просто считает. Пять. Шесть. Семь. — Я знаю, что он там был, — говорит Мэйрин. Голос тихий. Ровный. Как диагноз, который ставят в третий раз. —

Не знаю, что нашёл. Пауза. Она смотрит на чайник. На пар, который поднимается из носика. И не хочу знать. — Я хочу.

Мэйрин поворачивает голову. Смотрит на него. Не на глаза. На руки. На ключ. На то, как он его держит. Как будто если отпустит — потеряет. Не ключ. Что-то другое. — Знаю. Поэтому ты здесь. А не в Миссуле. В тёплой кровати. С горячим кофе.

Кас не отвечает. Она права. Кофе в Миссуле тоже гадкий, но там кровать. Там горячая вода в кране без привкуса. Там нет реки, которая пахнет илом и глиной. Там нет ключа, который впицается в ладонь. Там нет девочки на полу, которая рисует верёвку и не объясняет.

Он кладёт ключ в карман куртки. Бумага шуршит. Ключ тяжёлый. Тянет ткань вниз. — Завтра, — говорит Мэйрин. Не смотрит на него. Смотрит на чайник. Выключает конфорку. Шипение прекращается. Тишина становится громче. В тишине слышно, как Она рисует. Карандаш. Бумага. Шуршание. Живой звук. — Завтра, — повторяет Кас. Не спрашивает: куда. Не спрашивает: зачем. Ключ в кармане. Голосовое в голове. Церковь на холме с тёмными окнами. Завтра.

Мэйрин закрывает дверь. Кас слышит щелчок замка. Стоит на крыльце. Дождь висит. Мелкая взвесь. Ресницы мокрые. Мизинец горит. Камера на плече. Ботинок чавкает. Он делает два шага. Останавливается. На ступеньке. Окурок. Свежий. Не размок. Дождь не успел. Табак. Кас наклоняется. Поднимает. Нюхает. Не определяет марку. Но запах знакомый. Из паба. Из-за стойки. От рук, которые протирали стаканы. От Меррита. Или не от Меррита. Кас не думает. Просто замечает. Суёт окурок в карман. Рядом с ключом. Не знает зачем. Пальцы чувствуют: бумажный фильтр тёплый. Совсем чуть-чуть. Кто-то курил здесь. Недавно. Пока Кас сидел на полу и смотрел, как девочка рисует реку.

Он идёт. Обочина. Глина. Сосны. Хвоя скользит под подошвами. Кас не оборачивается. Не на дом Мэйрин. Не на церковь на холме. Просто идёт. Ботинок жмёт. Мизинец горит. Ключ в кармане бьёт по бедру при каждом шаге. Тихо. Металл о ткань. Тихо. Как мышь за стеной. За спиной, в окне второго этажа, горит свет. Жёлтый. Тёплый. Кас не видит. Не оборачивается. Но знает. Знает, что там девочка сидит на полу и рисует. И карандаш шуршит. И буквы плывут. А линии — нет. Линии стоят. Крепко. Навсегда.

Окурок в кармане остывает. Кас не замечает. Идёт дальше.

Глава 5. Ночные копии

Шлёп. Пауза. Жужжание. Шлёп.

Мэйрин не помнила, когда начала считать. Может, с первого листа. Может, с тридцатого. Тело считало само, без разрешения головы, как считают шаги в темноте, когда не хотят думать, что наверху.

Шлёп — тридцать семь. Шлёп — тридцать восемь.

Лист выползал тёплый, пах палёной пылью и горячим пластиком. Тонер. Единственный запах в этом подвале, который не напоминал о работе наверху. Не формалин. Не остывший кофе. Просто палёная пыль, как будто кто-то гладил синтетику утюгом и забыл выключить.

Она прижала следующий лист к стеклу. Большой палец упёрся в край крышки. Костяшка в пластик. Боль маленькая. Знакомая. Большой палец помнил этот упор. Семь лет. Каждый раз, когда ставила печать на заключение, большой палец упирался в край стола. В дерево. В пластик. В металл. Не в вину. В упор. Физический. Костяшка в поверхность. Тело запоминало не выбор. Тело запоминало позу.

Шлёп. Тридцать девять.

Пальцы в тонере. Подушечки серые, вьёвшиеся, не отмываются. Мэйрин пробовала хозяйственное мыло, пробовала ацетон, пробовала просто воду, горячую, почти кипятком, как мыла руки после смены. Не помогало. Тонер жил в коже. Семь лет. Кожа на костяшках сухая, стянута, трескается на сгибах. Она не мазала кремом. Крем оставлял плёнку, и пальцы скользили по бумаге. А бумагу нужно было чувствовать. Каждый лист. Его вес. Его температуру. Тёплый из ксерокса. Как живая кожа.

Мэйрин клала лист на стопку. Тёплый. Следующий. Тёплый. Как будто копирует не документы. Кого-то. Кого-то, у кого ещё есть температура.

Дождь наверху. Приглушённый. Как через подушку. Как через семь лет. Мэйрин не различала, идёт он или кончился. Тело не различало. Семь лет дождь. Семь лет ксерокс. Семь лет одно и то же.

Шлёп. Шлёп. Шлёп.

Если бы на эти копии был бюджет, она бы купила новый аппарат. Этот кашляет. Буквально. На сороковом листе начинает дёргаться, как старый курильщик, который пытается втянуть воздух и не может. Ещё год — и сдохнет. И она вместе с ним. Мысль не была смешной. Но Мэйрин дёрнула уголком рта. На миллиметр. Потому что если не дёрнуть — закричишь. А кричать нельзя. Уна наверху. Спит. Или не спит. Или рисует под одеялом фонариком. Мэйрин не знала. Не поднималась проверить. Не сейчас. Сейчас шлёп. Сейчас счёт. Сейчас руки делают, а голова догоняет потом. Иногда через год.

Шлёп. Сорок.

Ксерокс кашлянул. Выплюнул лист криво. Мэйрин поправила. Положила заново. Свет бьёт под стеклом. Озон. Короткий, металлический, как после грозы. Лист выползает. Тёплый. В коробку. Четвёртая коробка. Три уже под полом. Мэйрин не думала: я храню правду.

Шлёп. Сорок один. Шлёп. Сорок два.

Голова догоняет потом.

Она закрыла крышку. Выпрямилась. Спина хрустнула. Позвонки щёлкнули, как костяшки. Мэйрин постояла. Посмотрела на стопку. Ровная. Аккуратная. Руки сделали. Голова не участвовала. Голова была где-то наверху, в кухне, где остывал суп, который Уна не доела. Томатный. Из банки. Уна не любила томатный. Ела. Не жаловалась. Мэйрин грела всё равно. Потому что другой не было. Потому что на этой неделе не было.

Руки помнили. Не слова Рута. Не его лицо. Не Ленна у окна, который мял стетоскоп и смотрел на дождь, как будто дождь был интереснее того, что происходило за столом. Руки помнили ручку. Тёплую. Пальцы Рута держали её до этого. Мэйрин взяла. Тепло чужое, потом своё, потом снова чужое, когда она положила ручку обратно. Помнила не слова. Помнила интонацию. Тихую. Обволакивающую. Как тёплая вода из крана, которая пахнет хлоркой и кажется мягкой, пока не начинает щипать порез. Рут говорил тихо. Всегда тихо. Тихие люди страшнее громких. Громких слышно. Тихих — нет. Тихие подкрадываются. Ленн отвернулся к окну. Не смотрел. Мэйрин помнит его спину. Сутолую. Халат мятый. Он не сказал ни слова. Молчание Ленна было тяжелее слов Рута. Оно означало: я не буду тебя останавливать. Оно означало: я тоже подпишу. Оно означало: мы оба знаем, что делаем, и оба не назовём это вслух.

Большой палец упёрся в край стола. Дерево. Твёрдое. Костяшка вдавилась. Мэйрин подписала. Чернила легли ровно. Рука не дрожала. Голова догнала через три дня. Три дня ходила и не понимала, что сделала. А потом поняла. И не смогла развидеть. И не смогла раз-подписать. Подпись — это шрам. Один раз. На всю книгу. Больше эта метафора не нужна. Больше не будет. Рука до сих пор сжимается, когда Мэйрин берёт ручку. Любую. Для Уны. Для списка покупок. Для направления в клинику. Рука сжимается. Помнит. Голова говорит: это просто ручка. Рука не верит.

Мэйрин полезла в карман халата за салфеткой. Пальцы наткнулись на бумагу. Мягкая. Потёртая. Забыла. Положила три дня назад. Или четыре. Не помнит. Вытащила. Развернула. Почерк Дэша. Круглые буквы. Нажим на «т» — сильный, как будто забивал гвоздь. Наклон вправо. Мэйрин помнила этот нажим. Дэш писал на её кухонном столе. Она видела, как он давит на «т», и ручка скрипела, и она говорила: не продави стол. Он говорил: стол переживёт. Не пережил. Стол остался. Дэш — нет.

«Мэйрин, я знаю. Я нашёл документы. Если со мной что-то случится — они в церкви. Не в подвале. В церкви.»

Короткое. Не длинное. Не «не верь тем, кто говорит». Просто: в церкви. Не в подвале. И подпись: «Д.» Одна буква. Как будто не хотел писать имя. Или не мог. Или торопился. Мэйрин смотрела на эту букву. На нажим. На то, как «Д» уходила вниз, ниже строки, как будто рука уже падала, когда дописывала. Она сложила письмо. Аккуратно. По сгибам. Бумага шуршала. Пахла чернилами. И чем-то ещё. Металлическим. Как кровь из пореза. Как ключ. Как то, что она не знала. Спрятала обратно. В карман. Бумага прижалась к бедру. Шуршала при каждом шаге. Годы она носила бумаги в карманах. Заключение. Направления. Списки. Эта бумага была другая. Эта бумага была тёплая. Не от ксерокса. От неё. От тела. От того, что она прижимала её ладонью, когда думала, что никто не видит.

Стук. Не громкий. Не тихий. Три удара. Пауза. Два.

Мэйрин вздрогнула. Не от стука. От того, что вздрогнула. Она не вздрагивала три года. Тело забыло, как это делается. Вспомнило. Мышцы спины напряглись. Плечи поднялись. Пальцы сжали край стола. Она поднялась. Восемнадцать ступеней. Считала. Не специально. Тело считало. Седьмая скрипела громче всех. Седьмая всегда скрипела. Семь лет. Мэйрин знала каждую ступеньку. Как знала третью на лестнице в морг. Как знала пятую на спуске. Тело знало. Голова не успевала.

Открыла дверь. Никого. На пороге — конверт. Белый. Мятый. Без марки. Без обратного адреса. Только имя. «Мэйрин Дарроу.» Почерк не Дэша. Другой. Ровный. Аккуратный. Не местный. Мэйрин не узнала. Не потому что не знала. Потому что не хотела знать. Она подняла конверт. Бумага холодная. Влажная от дождя. Кто-то положил недавно. Минуты. Не часы. Бумага не размокла. Значит, дождь не успел. Значит, кто-то стоял здесь. Только что. Пока она была внизу. Пока шлёп. Пока счёт.

Мэйрин открыла. Внутри — лист. Та же бумага. Тот же размер. Но почерк другой. Не Дэша. Содержание: «Не верь Мэйрин. Не ходи в церковь. Он знает.» Подпись: нет. Пусто.

Мэйрин стояла. В одной руке — конверт с порога. В кармане — письмо Дэша. Одно говорило: иди в церковь. Другое говорило: не верь себе. Не верь Мэйрин. Не ходи. Он знает. Кто написал? Кто знает? Кто стоит за этими словами, ровными, аккуратными, не местными? Мэйрин не знала. Руки не знали. Руки держали оба. Не сжимали. Не рвали. Держали. Ждали. Голова не решала. Голова догоняет. Иногда через три дня. Иногда через семь лет. Иногда никогда.

Она закрыла дверь. Заперла. Прижалась к стене, чтобы силуэт не мелькнул в окне. Посмотрела в глазок. Дождь. Пустая улица. Фонарь качается. Никого.

Мэйрин вернулась в подвал. Восемнадцать ступеней. Каждая скрипела. По-разному. Седьмая громче всех. Она не считала. Тело считало. Полки. Папки. Корешки. Мэйрин провела пальцами по ним. Остановилась. Год смерти матери Каса. Двенадцать лет назад. Вытащила папку. Открыла. Пусто. Не просто пусто. На дне — след от бумаги. Прямоугольник. Где пыль не осела. Кто-то вынул. Недавно. Час назад. Два. Не больше. Пыль вокруг серая, мелкая, ровная. А внутри — чистый прямоугольник. Как окно в пыли. Как кто-то смотрел. И забрал. Пальцы Мэйрин помнили эту папку. Помнили вес. Помнили, сколько листов было. Двенадцать. Или тринадцать. Не помнит точно. Но помнит вес. Сейчас вес другой. Неправильный. Пальцы знают раньше головы. Пальцы говорят: здесь было больше. Здесь было двенадцать. Сейчас — ноль.

Она закрыла папку. Поставила обратно. На полку. Между другими. Как будто ничего не было. Как будто двенадцать листов не исчезли. Как будто кто-то не стоял здесь. Не трогал. Не забирал.

Холод бетонного пола шёл через подошвы. Не холод морга. Другой. Сухой. Мёртвый. Не живой холод. Мёртвый. Как будто пол помнил, что на нём стояло. И не хотел вспоминать.

Стук. Второй.

Мэйрин поднялась. Восемнадцать ступеней. Седьмая скрипнула. Открыла. Меррит. Без формы. Та же мятая рубашка. Расстёгнутый воротник. Дождь стекал с полей шляпы. Капал на крыльцо. Кап. Кап. Кап. Не ритмично. С паузами разной длины. Как будто шляпа думала, капать ей или нет. Меррит не заходил. Стоял на пороге. Смотрел. Не на глаза. На руки. На карманы. На то, что в карманах.

— Не копай. Пауза. Дождь. Кап. — Рут спрашивал. Пауза. Меррит моргнул. Медленно. Как человек, который не спал двое суток и не собирается спать ещё двое. — Ленн нервничает. Пауза. Кап. Кап. — Логан улыбается. Долгая пауза.

Меррит смотрел на неё. На карманы. На то, что в карманах. Мэйрин чувствовала письмо Дэша бедром. Бумага шуршала. Тихо. Но ей казалось, что Меррит слышит.

— Ты понимаешь, что это значит.

Мэйрин молчала. Три секунды. Пять. Семь.

— Я не просила прикрывать.

Меррит кивнул. Один раз. Коротко.

— Знаю.

Развернулся. Ушёл. Не сказал «я любил тебя». Не в этой сцене. Не сейчас. Сейчас — три слова и уход. Шаги по крыльцу. Скрип доски. Потом тишина. Потом дождь. Потом ничего.

Мэйрин закрыла дверь. Заперла. Восемнадцать ступеней. Каждая как год. Седьмая скрипнула. Тело считало. Она сидела на полу подвала. Спина к полкам. Холод бетона через джинсы. Через кожу. Через семь лет. В кармане — письмо Дэша. В руке — второе. Два. Одно говорило: иди. Другое: не верь. Мэйрин не знала. Не решала. Сидела. Слушала дождь наверху. Шуршание. Приглушённое. Как через подушку. Как через семь лет. Ксерокс молчал. Впервые за вечер. Тишина громче гула. Мэйрин слышала своё дыхание. И под ним — тихий, далёкий звук. Не вода. Не дождь. Что-то другое. Что-то, чему она не знала имени. Не давала имени. Если дать имя — придётся действовать. А она не могла. Не сейчас. Не сегодня. Завтра. Может быть. Завтра.

Наверху скрипнула третья ступенька. Уна. Не спит. Пошла в туалет. Или за водой. Или просто ходит. Восемь лет. Ходит по ночам. Рисует под одеялом. Мэйрин слышала: шуршание. Карандаш по бумаге. Не скрип. Шуршание. Живой звук. Не компрессор. Не ксерокс. Карандаш. Уна рисует. Мэйрин не поднималась. Не смотрела. Знает, что там. Река. Человечки. Один лежит. Другой стоит. Третий — маленький. С жёлтым кругом.

Мэйрин выключила свет. Темнота. Капание воды из крана наверху. Третья ступенька скрипнула. Уна легла. Она сунула оба письма в карман. Прижала ладонью. Как рану. Не свою. Чужую. Но болела.

Глава 6. Второе вскрытие

Лампа мигала. Не гасла — именно мигала. Три секунды ровно, потом дёргается, будто кто-то щёлкает выключателем из соседней комнаты, потом снова ровно. Кас смотрел на неё, пока глаза не начинали слезиться. Если она погаснет, фонарь он не удержит. Рука и так дрожит. Не от страха. От холода. Холод в костях. В суставах. В том месте, где большой палец соединяется с корпусом камеры — пальцы уже не чувствуют пластик.

Нож был в руке Мэйрин. Кас не помнил, когда она его достала. Помнил только: «Держи фонарь выше». Он поднял. Луч упал на грудную клетку Дэша. Она начала.

Разрез шёл медленно. Не из-за Мэйрин. Ткань была другой. Не живая, не мёртвая — третья. Как мокрый картон, пролежавший в воде неделю. Она входила без сопротивления, и от этого было хуже, чем если бы сопротивлялась.

Кас держал фонарь. Луч дрожал. Он прикусил щёку изнутри, чтобы отвлечься. Зубы вошли в слизистую. На языке — железо. Солоноватое. Привкус собственной крови во рту, и это было странно живое среди всего остального.

Мэйрин бормотала. Под нос. Не ему. Себе. «Так. Сюда. Нет, сюда. Ещё. Ещё чуть». Как механик, который перебирает двигатель и разговаривает с болтами. Голос глухой, из-за маски. Кас не разобрал половину слов. Но ритм этого бормотания держал. Не давал тишине сесть.

Дэш лежал. Серый. Кас уже видел этот серый цвет. В прошлый раз. Но сейчас, под прямым светом фонаря, увидел то, чего не заметил раньше. На правой руке Дэша, между средним и безымянным пальцем, вьевшееся пятно. Чернила. Синие. Не свежее — старое. Такое, которое не отмывается. Кас помнил, как брат держал ручку. Зажимал между средним и безымянным, а не между указательным и средним, как нормальные люди. Мать ругала. Дэш не переучился. Пятно осталось. Навсегда.

Кас сглотнул. Железо на языке стало гуще.

Мэйрин работала. Её пальцы в перчатках двигались с точностью, которую не спутаешь ни с чем. Семь лет. Она обмывала это тело. Кас знал это. Знал, что её пальцы помнят текстуру кожи Дэша, знают, где тоньше, где сустав жёстче, где шея поддаётся. Она не думала об этом. Её руки думали. Голова была где-то далеко, в другом месте, где нет ни запаха, ни лампы, ни кафельного пола.

Капля пота выступила у неё на виске. Кас увидел. Капля поползла к челюсти, задержалась на секунду на скуле и упала на кафель. Тёмная точка.

Мэйрин выпрямилась, вытерла лоб тыльной стороной запястья. Узловатые пальцы. Тоньше, чем должно быть у человека, который каждый день поднимает поддоны с телами. Кас подумал: у неё красивые запястья. И сразу: на столе мой брат. И не смог отогнать ни ту мысль, ни эту. Обе остались. Обе болели.

— Держи ровнее, — сказала Мэйрин, не поднимая головы. — Я не могу резать, когда у тебя тремор. Боишься — иди в коридор. Там кофе. Плохой. Но тёплый. — Я не боюсь. — Все боятся. Просто некоторые боятся и держат фонарь.

Кас сжал фонарь крепче. Костяшки побелели. Луч перестал дрожать. На полсекунды. Потом снова.

Мэйрин сделала надрез глубже. Раздвинула ткань. Кас наклонился. Увидел лёгкие. И остановился.

Лёгкие не были мокрыми. Не пенились. Не пахли рекой. Утопленники носят в себе воду — ил, водоросли, тину. Эти лёгкие были сухими снаружи. Но когда Мэйрин надрезала ткань, из разреза сочилось. Не вода. Густое. Серовато-жёлтое. Тягучее. Как растопленное масло, которое забыли на плите и оно стало коричневым.

Мэйрин замерла. Нож повис. Она наклонилась. Сняла маску. На секунду. Ноздри раздулись. Она вдохнула. Коротко. И отстранилась. — Хлорка.

Одно слово. Тихое. Плоское. Как диагноз, который ставят в третий раз и уже не удивляются.

Кас не переспросил. Не нужно было. Он почувствовал сам. Под формалином, под остывшим кофе, под озоном от лампы — сладковатое. Химическое. То самое, что пахло из реки в первый день. То самое, что он помнил с детства и называл запахом лесопилки. Двадцать лет. Может, больше. Оно было здесь. В лёгких его брата.

Кас прикусил щёку снова. Железо. Гуще. Он поднял камеру. Не думал. Палец нашёл спуск. Щелчок. Вспышка. Белая. Резанула по глазам. Озон ударил в ноздри — металлический, как после грозы. Мэйрин шурилась, но не обернулась. Продолжала мыть руки в раковине. Вода шумела. Кас щёлкнул ещё раз. Ещё. Снимал разрез. Снимал жидкость. Снимал ткань лёгких.

И тогда, через объектив, он увидел.

Мэйрин отвернулась от стола. Её плечи. Не лицо. Не руки. Плечи. Лопатки под тонкой тканью халата. Кас снял плечи. Не понял, почему. В видеоискателе она была в фокусе. Фон размыт. Кафель. Стол. Тело Дэша — размытое. А плечи — чёткие.

Кас опустил камеру. Посмотрел на экранчик. Плечи. Не пересмотрел. Удалил. Не смог. Оставил.

Мэйрин закрыла кран. Вода перестала течь. Тишина стала громче. Кас услышал: лампа мигнула. Щёлкнула. Выровнялась.

Где-то в коридоре капала вода из другого крана. Кап. Пауза. Кап. Не ритмично. С паузами разной длины. Как будто кран думает, капать ему или нет.

— Кофе хочешь? — спросила Мэйрин. Спина к нему. Полотенце в руках. Тёрла сильно. Кожа на костяшках красная. Кас посмотрел на тело брата. На её спину. На полотенце, которое шуршало в тишине. — Нет. — Ладно.

Она налила себе. Из чайника. Глоток. Поставила кружку. Вернулась к раковине. Включила воду. Не потому что руки были грязные. Потому что руки помнили другое.

Кас не спрашивал. — Кто его нашёл? Мэйрин не обернулась. Вода шумела. — Логан Кейн. Пауза. Кап. Кап. Из коридора. — Он всегда находит.

Кас не понял, что это значит. Но запомнил. Записал. Не в блокнот. В голову. Кадр. Средний план. Фокус. Запомнить. Не сейчас. Потом.

Мэйрин зашила разрез. Быстро. Аккуратно. Стежки ровные. Кас видел, как игла входит и выходит, входит и выходит, и нить натягивается, и кожа сходится. Она делала это сотни раз. Тысячи. Руки знали. Голова не участвовала.

Потом — скрип. Не шаги. Половица. Третья в коридоре. Кас не знал, какая по счёту. Но Мэйрин знала. Он увидел это по её спине. Она замерла. Нож в воздухе. Игла на полпути. Плечи поднялись на полсантиметра и не опустились. — Закрой дверь, — сказала она. Тихо. Не оборачиваясь.

Кас не понял. Посмотрел на дверь. Открыта. Коридор. Тёмный. — Закрой. Дверь.

Он встал. Закрыл. Щелчок замка. Не потому что понял. Потому что её голос не оставлял выбора. Голос человека, который семь лет слушает эту половицу и знает, чей вес на неё наступает.

Дверь открылась. Меррит стоял в проёме. Без формы. Мятая рубашка. Воротник расстёгнут. Волосы мокрые. Не от дождя — от пота. Лицо пыльное. Не больное. Уставшее. Так усталое, что серость стала цветом кожи.

Он посмотрел на стол. На раскрытую грудную клетку. На жидкость в разрезе, которую Мэйрин не успела убрать. На камеру в руках Каса. Потом на Мэйрин. — Опять.

Одно слово. Не вопрос. Не упрёк. Констатация. Как человек, который видит одну и ту же картину десятый раз и уже не удивляется. Только устает. Устает глубже.

Он вошёл. Не торопясь. Подошёл к табурету у стены. Сел. Колени хрустнули. Положил ордер на колени. Не на стол. На колени. Бумага была тёплая. Кас видел это. Видел, как пальцы Меррита прижимают лист к ткани брюк. Как будто ордер — это что-то личное. Не документ. Записка.

Меррит смотрел на борозду на шее Дэша. Долго. Кас считал секунды. Пять. Семь. Десять. Меррит не моргал. Потом перевёл взгляд на Мэйрин. — Ты знаешь, что я должен. — Знаю. — Но не сегодня.

Пауза. Кап. Кап. Из коридора. Лампа мигнула. Выровнялась. — Двадцать четыре.

Он встал. Колени снова хрустнули. Положил ордер на край стола. Аккуратно. Рядом с инструментами. Не на тело. Рядом. Повернулся. Пошёл к двери. Когда он проходил через дверной проём, Кас увидел: из заднего кармана рубашки торчит уголок бумаги. Не ордер. Что-то другое. Меррит прижал его ладонью. На полсекунды. Кас не видел, что. Но видел жест. Пальцы прижали. Придержали. Не дали выпасть. Запомнил. Не подумал об этом. Просто запомнил. Кадр. Боковой свет. Тень от ладони. Бумага в кармане.

Меррит вышел. Шаги стихли. Половица скрипнула. Потом тишина.

Мэйрин выдохнула. Кас услышал. Не видел. Она стояла спиной. Но слышал. Выдох длинный, через нос. Как человек, который задерживал дыхание минуту и наконец отпустил.

Кас подошёл к столу. Взял ордер. Бумага тёплая. От тела Меррита. Он развернул. Стандартная форма. Подпись. Дата. И на правом поле, ниже печати, чужой почерк. Тонкий. Наклонный. Вдавленный в бумагу с силой. «Рут уже знает».

Кас сложил ордер. Положил в карман. Посмотрел на Мэйрин. Она мыла руки. Спина прямая. Не оборачивалась. Вода шумела. — Рут знает, — сказал Кас.

Мэйрин закрыла кран. Вода перестала. Тишина. Кап. Кап. Из коридора. — Рут всегда знал.

Она включила кран снова. Вода зашумела. Разговор был окончен.

Кас стоял. Камера на груди. Ордер в кармане. Тёплый. Чужой. Он смотрел на Мэйрин, на её спину, на воду, которая текла из крана и не могла остановиться. На тело Дэша, зашитое, серое, с пятном чернил между пальцами.

Потом пошёл к двери. Открыл. Коридор. Тёмный. Линолеум липкий под подошвами. Чужие следы. Он сделал два шага. Остановился.

В коридоре стоял Логан. Не за спиной Меррита. Не в дождевике. В рабочей куртке. Руки в карманах. Смотрел. Не улыбался. Не махал. Просто смотрел.

Кас заметил его не сразу. Сделал два шага, потом увидел. Остановился.

Логан не сказал «соболезную». Не протянул руку. — Дорогу размыло. До среды не уедешь.

Бытовое. Не про Дэша. Про дорогу. Кас не понял, зачем это. Логан стоял. Ждал. Не ответа. Просто стоял. — Если понадобишься — я в гараже. За школой.

Повернулся. Ушёл. Не оборачиваясь. Шаги по линолеуму. Медленные. Тяжёлые. Стихли.

Кас стоял в коридоре. Смотрел ему в спину. Зачем он здесь. В морге. В три часа ночи. Не про Дэша. Не про тело. Просто: зачем. Но не спросил. Некому.

Мэйрин за спиной молчала. Вода шумела. Кап. Кап.

Он вышел. Дождь. Глина. Пошёл к дому Мэйрин. Ботинок жал. Левый. Мизинец. Купил вчера в Миссуле. Не разносил. Мизинец горел. Глупая мысль. Но она держала. Не давала думать о другом.

По дороге обернулся. Один раз. В окне морга горел свет. Силуэт. Не Мэйрин. Другой. Шире. Стоит неподвижно. Кас не видел лица. Не уверен, что видел.

Пошёл дальше. Дождь капал с ресниц. Камера билась о бедро. В кармане ордер. Тёплый. Чужой. Три слова, вдавленные в бумагу. Рут уже знает. Кас не знал, что с этим делать. Но шёл. Ботинок жал. Дождь не кончался. Может, кончится к утру. Может, нет.

Глава 7. Холодильная камера

Мэйрин выключила свет. Не сразу. Сначала ксерокс. Щелчок тумблера, и гул, семь лет вьювшийся в стены, в пол, в пломбы, — оборвался. Лампа над раковиной. Лампа у двери. Темнота легла не резко. Полоска из-под двери осталась, желтая, тонкая, как царапина на старой пленке.

Кас сидел на металлическом столе. Спина к стене. Холод шел через джинсы, через ткань, прямо в кости. Он чувствовал каждую заклепку. Каждую вмятину в стали. Задница онемела. Левую ногу он не чувствовал минут десять. Не шевелился. Не потому что хотел остаться. Если встанет — придется решать, куда идти. А решать он не мог. Не сейчас.

Кап. Пауза. Длинная. Семь секунд. Тело считало само, как всегда считало ступени в чужих домах, секунды до вспышки, кадры в серии. Кап. Кран в раковине. Не закрыт до конца. Вода собиралась на краю, висела, падала. Не ритмично. С паузами разной длины. Как будто кран думал, капать ему или нет. Кас слушал.

Мэйрин стояла у раковины. Он не видел лица. Только силуэт. Контур плеч. Линия волос. Полоска света резала темноту пополам, и Мэйрин была в той половине, где темнее. Как на фотографии с длинной выдержкой: все размыто, кроме того, что не двигается. А она не двигалась. Стояла. Руки опущены. Не в карманах. Впервые за весь вечер — просто опущены. Он слышал ее дыхание. Вдох через нос. Выдох через рот. Тихий свист на выдохе. Привычка. Семь лет в морге. Чтобы не тянуть формалин в легкие. Вдох носом — мало. Выдох ртом — длинно. Тело научилось раньше головы. Тело здесь решало. Тело здесь жило. Он считал ее вдохи. Один. Два. Три. Не зачем. Просто считал. Как считал кадры на шее Дэша. Как считал ступени в церкви. Тело считало, чтобы голова не думала.

— Кофе хочешь? Голос Мэйрин. Тихий. Плоский. Без вопроса внутри. Просто слова, брошенные в темноту, чтобы убедиться, что темнота не пустая. — Нет. Пауза. Кап. — Плохой все равно. — Знаю.

Она не пошла ставить чайник. Не включила свет. Просто стояла. Кас слышал, как она переступила с ноги на ногу. Подошва скрипнула по кафелю. Тихо. Как мышь за стеной.

— Ты когда-нибудь хотела уехать? Кас не собирался спрашивать. Слова вышли сами. Может, потому что темнота. Может, потому что три часа ночи. Может, потому что он сидел на ледяном столе и чувствовал заклепку под копчиком, и это было так глупо, так по-человечески глупо, что все остальные слова казались лишними.

Мэйрин молчала. Долго. Кап. Кап. Два вдоха. Три. — Каждый день, — сказала она. Голос не изменился. Тот же. Плоский. — Семь лет. Каждый день. Встаю. Иду в морг. Обмываю. Одеваю. Подписываю. И думаю: завтра уеду. Завтра возьму Уну и уеду. В Миссулу. В Биллингс. Куда угодно. Где вода не пахнет. Она замолчала. Кас ждал. Не торопил. Кап. — А завтра снова встаю. — Почему?

Она не ответила сразу. Кас слышал, как она открыла кран. Вода потекла. Шум заглушил все. Она мыла руки. Он слышал звук: ладони друг о друга, вода по коже, вода по кафелю. Долго. Слишком долго. Кожа на костяшках уже трескалась, он знал. Видел днем. Красные полосы. Сухие островки. Она тёрла. Тёрла, как будто хотела стереть не формалин. Что-то другое. Что-то, что живет глубже кожи. Кран закрылся. Тишина вернулась. Кап. Кап. — Потому что если я уеду, — сказала она, и голос был мокрый, не от воды, от чего-то другого, — кто будет закрывать им глаза?

Кас не ответил. Не потому что нечего было сказать. Ответ застрял в горле. Он знал этот вопрос. Знал его двенадцать лет. Знал с Турции, с Алеппо, с границы, где ребенок лежал под плитой три года, живой, и Кас снимал. Не копал. Снимал. Камера была в руках. Руки — нет.

— Я тоже не уехал, — сказал он. Тихо. Как будто говорил не ей. Себе. Стене. Заклепке под копчиком. — Двенадцать лет. Снимал чужие похороны. Не свои.

Мэйрин не повернулась. Стояла спиной. Кас видел только контур. Плечи. Затылок. Волосы собраны. Одна прядь выбилась. Полоска света ловила ее, делала почти золотой. — А сейчас? — Сейчас камера на плече. И я здесь. И я не знаю, встану ли завтра. Но я здесь.

Тишина. Не тяжелая. Не давящая. Просто тишина. Та, которая бывает, когда два человека сказали то, что не говорили годами, и воздуху нужно время, чтобы улечься. Кап. Кап. Кап. Кран думал.

Мэйрин отошла от раковины. Пошла к двери. Кас не видел ее. Слышал шаги. Мокрые подошвы по кафелю. Шлёп. Шлёп. Шлёп. Она прошла мимо него. Близко. Полметра. Может, меньше. И задела его локоть. Не рукой. Плечом. Краем. Случайно. Или нет. Оба замерли. Кас почувствовал: ткань ее халата. Шершавая. Стиранная сто раз. И под ней — тепло. Не горячее. Просто теплое. Живое. Температура тела, которая не имеет отношения к моргу, к формалину, к холодильной камере номер три. Просто температура. Тридцать шесть и шесть. Или тридцать семь. Градус разницы. Целый мир. Она не извинилась. Он не отодвинулся. Полсекунды. Может, секунда. Потом она пошла дальше. Шлёп. Шлёп. К двери. К полоске света. Кас сидел. Локоть горел. Не от удара. От температуры. От того, что кто-то живой прошел рядом в темноте и задел его. И он не спрятался за объектив. Не кадрировал. Не считал выдержку. Просто сидел. И локоть горел. И еще. Запах. На секунду. Когда она проходила мимо. Не формалин. Не хлорка. Не остывший кофе. Что-то другое. Сладкое. Фруктовое. Яблочное. Шампунь. Дешевый. Из бутылки с наклейкой, которая отклеивается. Уна выбирала. Кас не знал этого. Но тело знало. Тело сказала: яблочный. И Кас не понял, откуда знает. Не спрашивал. Не надо было.

— Уна сегодня нарисовала веревку, — сказала Мэйрин. От двери. Спиной к нему. Голос ровный. Но пальцы — Кас видел силуэт пальцев — сжались в кулак. Разжались. Сжались. Кас молчал. — Я не знаю, как ей сказать, что веревка — это не то, что она думает. Потому что это именно то, что она думает.

Кас открыл рот. Закрыл. Что он мог сказать. Что все будет хорошо. Что Уна забудет. Что дети забывают. Не забывают. Он видел детей, которые не забывали. В Алеппо. В Кандагаре. Дети не забывают. Дети рисуют. Карандашом. По обоям. По полу. По обратной стороне бланков. Рисуют то, что видели. И это не уходит. Это живет в линиях. В грифеле. В серых пальцах восьмилетней девочки. Он ничего не сказал. И это было правильно. Не каждый момент требует ответа. Иногда присутствие — это ответ. Иногда молчание рядом с человеком — это все, что можно дать. И этого достаточно. Или почти достаточно. Или это лучше, чем ничего.

Мэйрин вернулась. Не к раковине. К столу. К нему. Кас слышал шаги. Шлёп. Шлёп. Она остановилась. Рядом. Не вплотную. На полшага. Полшага — это много. Полшага — это семь лет. Он услышал звон. Короткий. Металл о металл. Она положила что-то на стол. Рядом с его бедром. Холодное. Тяжелое. Кас не видел. Темнота. Но слышал. Звон. Один. Короткий. Как колокольчик в пустой церкви. Ключ. Он знал. Не видел. Знал. По звуку. По весу. По тому, как Мэйрин дышала после. Вдох. Долгий выдох. Как будто положила не ключ. Как будто положила что-то, что держала семь лет. И руки освободились. И руки не знали, куда деться. — Утром, — сказала она. Голос тихий. Обрубленный. Без пафоса. Без решения. Просто факт. Как диагноз. Как расписание.

Кас кивнул. В темноте. Она не видела. Но он кивнул. Не спросил зачем. Не спросил что там. Не спросил, уверена ли он. Он знал. Голос Дэша на автоответчике. Хриплый. Быстрый. Как будто оглядывался. Не в подвале. В церкви. Два слова. Два места. Одно, где ложь. Другое, где правда. Или где то, что от правды осталось.

Кап. Кап. Кап. Мэйрин стояла рядом. Полшага. Кас сидел. Заклепка под копчиком. Локоть горел. Яблочный шампунь в воздухе. Ключ на столе. Холодный металл рядом с бедром. Он не поднял камеру. Не кадрировал. Не думал о диафрагме, о выдержке, о фокусе. Просто

сидел. В темноте. Рядом с женщиной, которая подписала смерть его брата. Которая мыла руки семь лет. Которая рисовала веревку руками восьмилетней дочери и не знала, как сказать, что веревка — это веревка. Он сидел. И не уходил. И это было все, что он мог. И это было больше, чем двенадцать лет.

Кап. Пауза. Длинная. Двенадцать секунд. Он считал. Не нарочно. Кап. Где-то наверху скрипнула половица. Третья. Мэйрин не обернулась. Кас не спросил. Оба знали. Уна встала. Пошла пить. Или в туалет. Или просто проснулась и не могла уснуть. Половица скрипнула и замолчала. Уна легла обратно. Тишина вернулась. Но другая. Не пустая. Полная. Двух дыханий. Капание. Ключа на металле. Полшага между ними. Мэйрин выдохнула. Долго. Через рот. Свист на выдохе. Семь лет. Тело помнило. Кас закрыл глаза. Не заснул. Просто закрыл. В темноте за веками не было кадра. Не было рамки. Не было стекла между ним и миром. Был только звук. Кап. Дыхание. Звон ключа, который еще не кончился, еще жил в металле, еще дрожал на частоте, которую слышат не уши, а кости. Утром. Церковь. Он не знал, что там. Не знал, что найдет. Не знал, встанет ли. Но он здесь. На ледяном столе. С заклепкой под копчиком. С локтем, который горит. С запахом яблочного шампуня, который не должен быть здесь, в морге, в три часа ночи, и который именно поэтому здесь. Кап. Кап.

Глава 8. Подвал церкви

Ключ в скважине не повернулся. Кас надавил сильнее, плечом вперёд, и механизм щёлкнул — сухо, костяно, как сустав, который давно не сгибали. Дверь ушла внутрь. Не наружу. Внутрь. В темноту, которая пахла сырой землёй и старым деревом. Не ладаном. Не свечами. Землёй. Как погреб, в котором забыли картошку на три зимы. Мэйрин шагнула первой. Кас за ней. Ключ остался в замке — торчал из скважины, как ключица из кожи. Ступени бетонные. Кас считал. Привычка. Алеппо. Кабул. Мосул. Входишь в подвал — считай ступени. Выходишь — считай секунды до двери. Здесь ступеней было четырнадцать. Мэйрин не считала. Её ноги знали. Она спускалась в темноте без пауз, не держась за стену, не шаря рукой по воздуху. Кас отстаёт на две ступени. Его ботинок скользнул на седьмой. Он не выругался. Поставил ногу ровнее. Мокрая плёнка на бетоне. Конденсат. Или грунтовые воды. Не важно. Четырнадцать. Пол под ногами. Глина, утрамбованная за двадцать лет чьими-то подошвами. Мэйрин включила фонарь. Луч упал на стену. Кас прищурился. Не стеллажи. Не полки. Не архив в том смысле, который он представлял. Бочки. Синие, пластиковые, с выцветшими маркировками промышленных реагентов. Десятки. Между ними — картонные коробки, разбухшие по углам, перевязанные бечёвкой. На стенах листы бумаги, приклеенные скотчем. Пожелтевшие. Потёки клея. Кас повёл фонарём. Луч скользнул по полу. Остановился. Туфелька. Детская. Красная. На полу, между коробками. Не на полке. Не в коробке. На полу. Одна. Маленькая. Застёжка растёгнута. Кто-то потерял. Или положил. Кас не понял, почему она здесь. И именно это непонимание ударило в грудь сильнее, чем если бы он увидел все бочки сразу. Бочки — это система. Туфелька — это ребёнок. Конкретный. С ногой двадцать третьего размера. С мамой, которая купила её в магазине на Мэйн-стрит и не вернулась за второй. Он отвёл луч. Не стал снимать. Не сейчас. Мэйрин уже была у ближайшего стеллажа. Её пальцы легли на коробку — привычно, как на плечо того, кого обмываешь каждый день. Вытащила папку. Раскрыла. Фонарь в её левой руке дрогнул, но она не поправила. Просто наклонила ниже, зажав папку под мышкой. Кас подошёл. Встал за её плечом. Посмотрел. Не графики. Не таблицы. Почерк. Кто-то писал эти цифры от руки. Двадцать лет. Один и тот же почерк. Мелкий, аккуратный, с нажимом на «т». Кас узнал не сразу. Сначала увидел ритм. Буквы стояли ровно, как прихожане на воскресной службе. Потом — нажим. «Т» вдавлена в бумагу, как гвоздь в крышку. Пастор. Не лаборант. Не врач. Пастор, который двадцать лет вёл учёт тому, что убивал. Мэйрин перевернула страницу. Список имён. Фамилии. Даты. И напротив каждой — диагноз, перечёркнутый красным карандашом. Сердечная недостаточность. Зачёркнуто. Пневмония. Зачёркнуто. Рядом новое: рак лёгких. Саркома. Лейкоз. Кас потянулся за следующей папкой. Мэйрин передала молча. Он раскрыл. Между страницами — сложенный вдвое клочок бумаги. Не из этой папки. Другая бумага. Плотнее. Кас развернул. Почерк другой. Не Рута. Угловатый. Сжатый. Три слова: «Перенести на 14-е. Не раньше». Подписи нет. Но Кас видел этот почерк. В офисе шерифа. На ордере. На рапортах. Меррит. Что перенести? Куда? Не позже четырнадцатого. Не раньше. Кас сложил записку. Сунул в карман куртки. Мэйрин начала дрожать, и он решил не добивать её новой информацией, пока они не выберутся на поверхность. Мэйрин открыла третью папку. Кас смотрел через её плечо. Список. Даты. Имена. Он шёл глазами вниз. Машинально. Как просматривают контактный лист. И остановился. Фамилия. Он отвёл взгляд. Посмотрел на стену. На бочки. На потолок, где паутина висела серыми нитями. На туфельку на полу. Куда угодно. Строка не исчезла. Он знал, что не исчезнет. Посмотрел снова. Имя его матери. Маргарет Меррик. Диагноз: остановка сердца. Перечёркнуто. Рядом, тем же мелким почерком с нажимом на «т»: рак поджелудочной. Стадия IV. Кас положил палец на имя. Не на диагноз. На имя. Буквы под подушечкой шершавые. Старый принтер. Тонер въелся в волокна. Палец не

убрал. Стоял. Держал. Как будто если отпустит — имя сотрётся. Как будто Маргарет Меррик станет ещё мёртвее, чем была. Мэйрин не говорила. Стояла рядом. Фонарь в её руке горел ровно. Кас слышал её дыхание. Ровное. Вдох через нос. Выдох через рот. Семь лет в морге. Привычка. Чтобы не дышать формалином. Здесь не формалин. Здесь земля и бумага. Но она дышала так же. Тело не переучивается. — Здесь все, — сказала Мэйрин. Голос тихий. Не для него. Для себя. Для папки. Для имён. Кас убрал палец. Поднёс к лицу. Посмотрел. На подушечке — серый след. Тонер. Он вытер его о джинсы. Не помог. Пятно осталось. Он поднял камеру. Без вспышки. Высокое ISO. Зерно превратит темноту в текстуру. Щелчок. Ещё. Стена с листьями. Бочки. Коробки. Туфелька. Он снял туфельку. Не бочки. Туфельку. Крупный план. Красная. Расстёгнутая. На глиняном полу. Если кто-то увидит этот кадр — поймёт. Без слов. Без подписи. Без «экологическая катастрофа». Просто туфелька. На полу. В подвале церкви. Мэйрин открыла рот. Закрыла. Посмотрела на Каса. На камеру. На то, как он держит её. Не перед лицом. На уровне груди. Как щит. Она знала этот жест. Сама так держала печать. Семь лет. И тогда Кас услышал. Не шаги. Голос. Тихий. Сверху. С лестницы. Мычание. Мелодия. «Amazing Grace». Не слова. Только мелодия. Рут напевал. Тихо. Как напевают, когда идут по знакомому коридору. Когда не ждут гостей. Когда дом свой. Человек, который пришёл застать воров в подвале, не напевает. Человек, который пришёл к себе домой, напевает. Мэйрин замерла. Фонарь дрогнул в её руке. Луч качнулся по стене, по бочкам, по коробкам. Она выключила фонарь. Темнота стала полной. Кас слышал только напевание. Ближе. Ступенька. Ещё. Скрип. Свет вспыхнул. Не фонарь. Лампочка. Под потолком. Жёлтая. Ровная. Беспощадная. Залила подвал, обнажив каждую пылинку, каждый потёк на коробках, каждую морщину на лице Мэйрин. Джаспер Рут спустился с последней ступени. Остановился. Не в костюме. В вязаной кофте. Серой. С вытянутыми локтями. Руки в карманах. Вынул. Посмотрел на них. На бочки. На папки в руках Мэйрин. На камеру Каса. Не удивился. Не разозлился. Замер на секунду, оценивая их лица, положение рук Каса, и только потом сделал вид, что контролирует ситуацию. Устал. Кас видел это. Усталость. Не спокойствие. Не приветливость. Усталость человека, который двадцать лет варит суп на троих и ест на одного. Рут подошёл к ящику. Сел. Ящик скрипнул. Он положил руки на колени. Ладонями вверх. Как священник, который принимает исповедь. Как человек, который больше не держит. Которому нечего прятать в кулаках. — Дэш сидел там, — сказал Рут. Кивнул на место, где стоял Кас. — Где ты стоишь. Три недели назад. С той же папкой. С тем же лицом. Лампочка гудела. Тихо. На одной ноте. — Я ему сказал то же, что скажу вам. Не ходите к Логану. Кас сжал челюсть. Мэйрин не двигалась. Папка в её руках. Пальцы побелели на ребрах. — Дэш сидел. Дэш просил. Дэш не послушал. — Рут говорил ровно. Три удара. Ритм проповеди. Но без амвона. Без паствы. Просто усталый человек на ящике в подвале. — Три глагола. Один конец. Кас сделал шаг. Камера на груди качнулась. — Вы знали, что вода отравлена. Рут посмотрел на него. Не отвёл взгляд. Не моргнул. — Знал. — Сколько лет. — Двадцать два. Капало с потолка. Неровно. С паузами разной длины. Как будто кран думает, капать или нет. Рут потёр ладонь о ладонь. Медленно. Как моет руки без воды. Привычка. Или ритуал. — Первый год я думал — скажу. Второй — подготовлюсь. Третий — уже поздно. На четвёртый — поздно стало настолько, что правда стала опаснее лжи. — Для кого, — сказал Кас. Не вопрос. Утверждение. Голос ровный, но палец на спуске камеры побелел. Рут не ответил сразу. Посмотрел на бочку рядом. Провёл ладонью по крышке. Гладкая. Холодная. Пластик под пальцами. — Для всех. Правда — скальпель. Режет. Не все переживают. Мэйрин положила папку на пол. Аккуратно. Не бросила. Положила. Как кладут то, что ещё понадобится. Её руки опустились вдоль тела. Пальцы расслабились. Кас видел это. Впервые за неделю — не в карманах. Не в кулаках. Просто висят. — А мой брат? — сказал Кас. Тихо. Не крик. Не злость. Вопрос, который весит больше крика. Рут посмотрел на него. Долго. Лампочка гудела. Где-то наверху капала вода. Неровно. С паузами разной длины. Как будто кран думает, капать или нет. — Я не убивал Дэша, — сказал Рут. — Но я знаю, кто.

Пауза. Кас ждал. Мэйрин ждала. Лампочка жужжала. Рут не назвал имя. Встал. Ящик скрипнул. Пошёл к лестнице. Медленно. Не торопился. Не оглядывался. Остановился на третьей ступени. Спина к ним. — У меня суп, — сказал он. Не обернулся. — Овощной. На троих. Я варю на троих каждый вечер. Двадцать лет. Жена любила. Пауза. Капание воды. Гудение лампочки. Шуршание бумаги в папке, которую Мэйрин не выпустила из рук. — В семь. И ушёл. Ступеньки. Скрип. Дверь наверху закрылась. Щелчок. Не громкий. Не злой. Просто щелчок. Дверь закрылась. Как закрывается дверь, когда хозяин уходит спать. Свет остался гореть. Кас стоял. Камера на груди. Палец на спуске. Не нажал. Ни разу за весь вечер. Впервые за двенадцать лет он стоял в месте, где нужно снимать, и не снимал. Потому что если бы снял — стал бы свидетелем. А свидетелем быть легче, чем тем, кто стоит в подвале церкви и чувствует, как шершавые буквы имени матери въедаются в подушечку пальца. Мэйрин подошла к выключателю. Не выключила. Посмотрела на лампочку. На Каса. На туфельку на полу. — Идём, — сказала она. Они поднялись. Четырнадцать ступеней. Кас считал. Мэйрин не считала. Наверху — ночь. Дождь кончился. Воздух пах землёй. Не хлоркой. Землёй. Мокрой сосной. Чем-то живым. Кас шёл за Мэйрин. В трёх шагах. Камера на плече. В кармане — записка Меррита. «Перенести на 14-е. Не раньше». Что перенести. Не сейчас. Потом. За спиной, под землёй, в жёлтом свете лампочки, туфелька стояла на глиняном полу. Красная. Расстёгнутая. Ждала. Не хозяйку. Никого. Просто стояла. Как стоит то, что забыли. И некому забрать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.